



Л. Н. ВОЙТОЛОВСКИЙ

Максимилиан Волошин

Некоторые декадентские поэты существовать не могут без литературного грима. Эти поэты так и называют себя стилизаторами, т. е. ищущими красоты под развалинами прошедшего и облакающимися в чужие доспехи. Одни гримируются под Сарданапала¹, другие — под Диану де-Пуатье, под царицу Таиах и даже под кентавров². И обладая душой и телом чахлого банковского бухгалтера, они напяливают на себя костюмы индусских браминов и торжественно высказывают мысли и убеждения, свойственные давно прошедшим векам и народам. Единственным их оправданием является, пожалуй, то соображение, что язык, на котором они проповедуют свои браминские взгляды, ближе, действительно, к вавилонскому и древне-египетскому, чем к общепонятному русскому языку.

Трудно решить, кем больше хотелось бы прослыть Максимилиану Волошину, — Тангейзером ли, головой *m-me de Lamballe*, которую «парижская голь» бросила на «мокрый прилавок», где «кто-то пил в кабаке алкоголь»³, символистом или оккультистом, но ясно, что автор «Алтарей в пустыне» и «Царевны Таиах» взял на себя, во всяком случае, непосильно-тяжелую задачу. Недаром он горько жалуется, что у него, «как ядро к ноге, прикован шар земной»⁴. С таким грузом, разумеется, далеко не уйдешь.

И мне даже думается, что муза Максимилиана Волошина давно раздавлена этой непосильной ношей, превратившей ее в расплющенный труп; а хитрый поэт, который отлично знает об этом несчастье, изо всех сил старается выдать свою умершую музу, нарядив ее в благовонные одежды египетских мумий, за древне-ассирийскую царицу Таиах⁵.

Оттого и получают у него не стихи, а какая-то стихотворная, мертвенная образность; неподвижная, скучная, погребально-унылая лирика, рожденная не поэтической фантазией, а хитроумным расчетом гробкопателя слов. У корейцев существует обычай завертывать почетных

покойников в целую дюжину разноцветных одеял — из дорогой, тяжелой парчи. Вот такого покойника и напоминает поэзия Максимилиана Волошина. Его тяжеловато-пышные строки — каждая в отдельности выточены и ярко раскрашены, но одна с другой совершенно не связаны, как одеяла на трупе. И притом, у корейцев это все-таки верование, скрепляющее каждую мелочь священным ремнем традиций. Тогда как чеканные строки Максимилиана Волошина облекают собой какие-то мертвые мысли, которым сам поэт, неизвестно для чего, подчинился и которым, неизвестно для чего, желает подчинить и читателя.

В его стихах мы находим, конечно, и отрицание мира, и «темные восторги расставания», и «кристалл уныния, застывший в льдистой раме», и «звезду-полынь», и «священные стигматы», «затворы зеркальности»⁶, — одним словом, весь арсенал декадентского Парнаса. Ибо автор этих стихов, по меткому определению его собрата по декадентскому ремеслу, Мережковского, есть, прежде всего, «поэт-коммивояжер, который имеет способность наряжаться во всякие одежды»⁷.

Он и символист, и оккультист, и мировой тоской заражен. И слова у него все такие колючие, режущие и жалящие. На каждом шагу у него: «Мрак ужален пчелами свечей», «сердце острой радостью ужалено», «чьей древней тоской мой вещей дух ужален»⁸ и т. д. Но и тогда, когда он молитвенно возглашает:

Горé мы подняли сердца
И причастились страшной тайны
В лучах нездешнего лица...⁹

или пессимистически проливает слезы:

Над горестной землей — пустынной и огромной —
Больной порывистым дыханием ветров,
Безумной полднями, облитой кровью темной
Закланных вечеров...¹⁰ —

его страдание никого не волнует, и молитва его никого не трогает. Ибо слезы его такие, которыми никто никогда не плачет, и молитвы его вылетают из стилизованной хрестоматии. И когда он в отчаянии разрывает на себе свои оккультные ризы, из-под них показывается шикарная пара, сшитая по самой последней заграничной картинке.

Я духом бог, я телом конь.
Я чую дрожь предчувствий вещей,
Я слышу гул идущих дней,

Я полон ужаса вещей,
 Враждебных, мертвых и зловещих,
 И вызывает мой испуг
 Скелет, машина и паук¹¹.

Здесь все так таинственно и величественно, что бедный, поэт, так старательно обточивший свои мистические вопли, совсем не догадывается, отчего эти стихи, продекламированные таким мелодраматическим голосом, вызывают на устах у читателей ироническую улыбку.

Даже больше. В своем наивном самообольщении он принимает ее за удовольствие слушателей и с величайшим апломбом продолжает декламировать о том, как «гряды холмов отусклил марный иней и распластались зыбких взводней змеи»¹², или о том, как струится «туманный дых полей» и «сочится ископыт коня»¹³ и т. п. Надо много догадливости, чтобы добраться до смысла этих вавилонских оборотов. Но еще загадочнее для обыкновенного понимания его оккультные символы.

В зеркальных снах над водной бездной
 Алмазность пытки затая,
 Ты — слезный свет во тьме железной,
 Ты — горький звездный сок,
 А я —
 Я — помутневшие края
 Зари слепой и бесполезной¹⁴.

Впрочем, поэт не всегда такого скромного мнения о себе. В другом мистическом символе говорится, будто он

Творящих числ и воль мерцающий поток,
 Где в горьком сердце тьмы сгущался звездный сок,
 Что темным языком лепечет в венах глухо...¹⁵

До некоторой степени этот символ может служить нам ключом к пониманию предыдущего. Ибо, с одной стороны, он поясняет, откуда «звездный сок» получает свой горький вкус («где звездный сок сгущался в *горьком* сердце тьмы»), а с другой стороны, брошена мысль, указывающая и на происхождение «темного языка». Так или иначе, надо быть посвященным в тайны теософии, чтобы разбираться в этих мистических шарадах, и, вероятно, вписанные в альбомы друзьям, обладающим таинственным шифром, стихи эти доставляют им гораздо больше удовольствия, чем непосвященным читателям.

Максимилиан Волошин вообще и по преимуществу — поэт дружеских мадригалов. Все его стихи состоят из посвящений, посланий и писем Балтрушайтису, Бальмонту, Ад. Герцк, графине Толстой, Зиновьевой-Ганнибал, Вячеславу Иванову и многим другим. Может быть, этим и объясняется, что и слава его значительно больше его таланта, будучи очень многим обязана усердию дружеской рекламы, игравшей в свое время решающую роль на рынке декадентской известности.

Среди дружеских посланий М. Волошина есть, впрочем, несколько очень недурных по форме стихотворений. Таковы: «Клоун в огненном кольце», «Если сердце горит и трепещет» и «На старых каштанах сияют листья».

Но если повычеркивать из книги стихов М. Волошина все неясности и нелепости, всю комическую гранденцу, в которую он облакает свой оккультный вздор, то останется ровным счетом 5–6 недурных стихотворений, среди которых первое место должно быть отведено стихотворениям революционным. Ибо даже Максимилиану Волошину не удалось избежать экстатического захвата 1905 г., и его перу принадлежат 2–3 стихотворения, отмеченные пафосом той героической эпохи. И надо сознаться, это лучшие стихи, вышедшие из декадентского лагеря и посвященные общественному подъему. Это — довольно известные «Предвестия» и «Ангел мщениа». Но об них подробнее будет речь в третьей части «Очерков истории русской литературы» в связи с революционным уклоном и общей характеристикой творчества Валерия Брюсова и Александра Блока.

<1928>

